

*Мэри Рой, которая вырастила меня.  
Которая научила меня извиняться  
перед тем, как перебить ее публично.  
У которой хватило любви ко мне,  
чтобы отпустить меня.*

*ЛКС — от той, что, как ты, выжила.*

## Оглавление

1. Райские соленья и сладости .....	7
2. Бабочка Паппачи .....	45
3. Большой человек — Лалтайн, маленький человек — Момбатти .....	105
4. Кино «Абхилаш» .....	112
5. Божья страна .....	146
6. Кочинские кенгуру .....	160
7. Тетради «Грамота» .....	181
8. Добро пожаловать домой .....	192
9. Госпожа Пиллей, госпожа Ипен, госпожа Раджагопалан .....	218
10. Река в лодке .....	225
11. Бог Мелочей .....	250
12. Кочу Томбан .....	264
13. Пессимист и оптимист .....	275
14. Трудясь — Борись .....	306
15. На тот берег .....	328
16. Несколько часов спустя .....	330
17. Приморский вокзал, Кочин .....	334
18. Исторический Дом .....	344
19. Как спасали Амму .....	354
20. Мадрасский Почтовый .....	364
21. Цена бытия .....	372

Никогда больше отдельно взятая повесть не будет рассказана так, словно она — единственная.

*Джон Берджер*

## 1. Райские соленья и сладости

Май в Айёмене — знойный, тяжелый месяц. Дни длинные и паркие. Река мелеет, и черные вороны набрасываются на яркие плоды манго в пыльно-зеленых застывших кронах. Зреют розовые бананы. Лопаются плоды хлебного дерева. Праздные синие мухи пьяно гудят в приторном воздухе. Потом с лёта ударяются в оконные стекла и дохнут, недоуменно раздуваясь на солнце.

Ночи ясные, но отравленные ленью и угрюмым предчувствием.

В начале июня юго-западный муссон приносит три месяца ветра и воды с короткими проблесками ослепительного солнца, когда взбудораженные дети спешат наиграться. Земля сдается на милость бешеной зелени. Границы размываются: маниоковые изгороди пускают корни и зацветают. Кирпичные стены становятся мшисто-зелеными. Перечные лианы взбираются по столбам линий электропередачи. Ползучие растения прорывают плотный прибрежный латерит и перекидывают стебли через полотно залитых водой дорог. По базарным площадям снуют лодки. В рывинах, оставленных дорожными рабочими, заводятся мальки.

В такую-то дождливую погоду Рахель вернулась в Айёменем. Косые серебристые канаты хлестали рыхлую землю, вспахивая ее, как пулеметные очереди. Старый дом на пригорке низко, как шапку, надвинул от дождя крутую двускатную крышу. Стены с прожилками мха утратили твердость и слегка вспучились, напитавшись влагой от

земли. Заросший, одичавший сад был полон шмыганья и шелеста мелких существ. В траве полоз терся о блестящий камень. Желтые лягушки бороздили пенящийся пруд в надежде найти пару. Вымокший мангуст перебежал засыпанную листьями подъездную дорожку.

Дом казался пустым и заброшенным. Двери и ставни были заперты, передняя веранда оголена. Мебель оттуда вынесли. Но лазурного цвета «плимут» с хромированными крылышками по-прежнему стоял около дома, а в доме по-прежнему жила Крошка-кочамма.

Это была двоюродная бабушка Рахели, младшая сестра ее деда. Настоящее ее имя было Навоми, Навоми Айп, но все с детства звали ее Крошкой. Повзрослев, она стала Крошкой-кочаммой, то есть Крошкой-тетушкой. Рахель, однако, приехала вовсе не к ней. Ни внучатная племянница, ни двоюродная крошка-бабушка не питали на этот счет никаких иллюзий. Рахель приехала повидать брата Эсту. Они были двуйцевые близнецы. Врачи говорили — «дизиготные». Произшедшие от разных, но одновременно оплодотворенных яйцеклеток. Эста (полное имя — Эстаппен) был старше на восемнадцать минут.

Они — Эста и Рахель — вовсе не были так уж похожи внешне и даже в тонкоруко-плоскогрудом детстве с его глистами и зачесами под Элвиса Пресли не вызывали обычных вопросов типа «Кто — он, кто — она?» ни у слащаво-улыбчивых родственников, ни у епископов Сирийской православной церкви, которые частенько навещались в их Айменемский Дом за пожертвованиями.

Путаница крылась глубже, в более потаенных местах.

В те ранние, смутные годы, когда память только зарождалась, когда жизнь состояла из одних Начал без всяких Концов, когда Всё было Навсегда, Я означало для Эстаппена и Рахели их обоих в единстве, Мы или Нас — в раздельности. Словно они принадлежали к редкой разновидности сямских близнецов, у которых слиты воедино не тела, а души.

Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившегося Эсте смешного сна.

Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не имеет права.

Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой в кинотеатре «Абхилаш». Она помнит вкус сэндвичей с помидором — сэндвичей *Эсты*, которые он ел в Мадрасском Почтовом по пути в Мадрас.

И это только лишь мелочи.

Но сейчас она мысленно называет Эсту и Рахель *Они*, потому что по отдельности и тот и другая уже не такие, какими *Они* были или когда-либо намеревались стать.

Ничего общего.

Их жизни теперь обрели очертания. Свои — у Эсты, свои — у Рахели.

Края, Границы, Контуры, Рубежи и Пределы ватагами троллей возникли на их отдельных горизонтах. Коротышки, отбрасывающие длинные тени и патрулирующие Размытую Область. Под глазами у близнецов темнеют нежные полумесяцы; им столько же лет, сколько было Амму, когда она умерла. Тридцать один.

Не старость.

Не молодость.

Жизнесмертный возраст.

Эста и Рахель, можно сказать, едва не родились в автобусе. Машина, в которой Баба, их отец, вез Амму, их мать, в родильный дом в Шиллонг, сломалась на дороге, круто петлявшей среди чайных плантаций штата Ассам. Они вышли на дорогу и, размахивая руками, остановили пере-

полненный рейсовый автобус. Проявляя своеобразное сочувствие очень бедных к сравнительно богатым, — а может быть, просто потому, что видели, какой необъятный живот у Амму, — сидячие пассажиры уступили супругам место, и всю дорогу отцу Эсты и Рахели приходилось держать руками живот их матери (с ними самими внутри), смягчая тряску. Это, естественно, было до того, как они развелись и Амму вернулась к родным в южный штат Керала.

Послушать Эсту, так если бы они и вправду родились в автобусе, им всю жизнь можно было бы кататься на автобусах бесплатно. Непонятно было, откуда он это знает, где получил такую информацию, но, так или иначе, близнецы не один год слегка сердились на родителей за то, что они лишили их этой привилегии.

А еще они были уверены, что если бы их сбила машина на «зебре» для пешеходов, Государство оплатило бы похороны. Они определенно полагали, что для этого-то «зебры» и существуют. Для бесплатных похорон. Конечно, таких «зебр» в Айеменеме не было, как не было их даже в ближайшем городе Коттаяме, однако близнецы видели их иногда в окно машины, когда ездили в Кочин, до которого было два часа пути.

Правительство не оплатило похорон Софи-моль, потому что она погибла не на «зебре». Заупокойная служба прошла в Айеменеме, в старой церкви, которую незадолго до того вновь покрасили. Софи-моль была двоюродной сестрой Эсты и Рахели, дочерью их дяди Чакко. Она приехала к ним в гости из Англии. Когда она умерла, Эсте и Рахели было семь лет. Софи-моль было почти девять. Для нее сделали специальный детский гробик.

Обитый внутри атласом.

С латунными ручками.

Она лежала в нем в своих желтых кримпленовых брючках клеш, со стянутыми лентой волосами, со своей любимой стильной английской сумочкой. Ее лицо было бледное и сморщенное, как палец дхоби\*, который долго не вынимал рук из воды. На панихиду собралась чуть не вся община, и от зауспокойного пения желтая церковь распухла, как больное горло. Священнослужители с курчавыми бородами махали кадилами с курящимся ладаном и не улыбались детям так, как улыбались в обычные воскресенья.

Длинные свечи перед алтарем были изогнуты. Короткие — нет.

Старая женщина, изображающая из себя дальнюю родственницу (никто не знал, кто она такая, но она часто появлялась у гроба на панихидах — похоронная наркоманка? скрытая некрофилка?), смочила ватку одеколоном и мягко-благочестиво-вызывающе провела ею по лбу Софи-моль. Мертвая девочка пахла одеколоном и гробовой древесиной.

Маргарет-кочамма, английская мать Софи-моль, не позволила Чакко, биологическому отцу умершей, обнять себя за плечи.

Семья стояла в церкви маленькой кучкой. Маргарет-кочамма, Чакко, Крошка-кочамма, а рядом с ней ее невестка Маммачи — бабушка Эсты, Рахели и Софи-моль. Маммачи была почти слепая и вне дома всегда носила темные очки. Слезы стекали из-за очков по щекам и дрожали у нее на подбородке, как дождевые капли на карнизе. В своем кремовом крахмаленном сари она выглядела маленькой и больной. Чакко был ее единственный сын. Ее собственное горе мучило ее. Его горе убивало ее.

Хотя Амму, Эсте и Рахели разрешили прийти на отпевание, они должны были стоять отдельно от остальной семьи. Никто не смотрел на них.

---

\* Дхоби (хинди) — мужчина-прачка. Здесь и далее — примечания переводчика.

В церкви было жарко, и лепестки белых лилий уже подсыхали и заворачивались по краям. В чашечке гробового цветка умерла пчела. Руки Амму ходили ходуном, а с ними вместе — ее молитвенник. Кожа у нее была холодная. Эста в полуобмороке стоял к ней вплотную, его остекленевшие глаза болели, его горящая щека прижималась к голой дрожащей руке Амму, в которой та держала молитвенник.

Рахель, напротив, яростно, из последних сил бодрствовала, вся — как натянутая струна из-за выматывающей битвы с Реальной Жизнью.

Она заметила, что ради собственного отпевания Софимоль очнулась. Она показала Рахели Одно и Другое.

Одно — это был заново выкрашенный высокий купол желтой церкви, на который Рахель никогда раньше не смотрела изнутри. Купол был голубой, как небо, по нему плыли облака и со свистом неслись крохотные реактивные самолетики, оставляя среди облаков перекрестные белые следы. Все это, разумеется, куда легче заметить, лежа в гробу лицом вверх, чем стоя в тесной толпе среди горестных бедер и молитвенников.

Рахель задумалась о человеке, который ухитрился забраться на такую верхотуру с ведрами краски — белой для облаков, голубой для неба, серебристой для самолетиков, — да еще с кистями и растворителем. Она вообразила, как он там лазает, голосинный и блестящий, похожий на Велютту, как он сидит на доске, подвешенной к лесам под куполом церкви, и рисует серебристые самолетики в голубом церковном небе.

Она задумалась о том, что было бы, если бы веревка оборвалась. Вообразила, как он падает, темной звездой прочерчивая им же сотворенное небо. Потом лежит весь переломанный на горячем церковном полу, выплеснув на него из черепа темную, потаенную кровь.

К тому времени Эстаппен и Рахель уже успели кое-что узнать о способах ломки людей. Они успели познако-

миться с запахом. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Другое из того, что Софи-моль показала Рахели, — это был крошечный летучий мышонок.

Пока шла зауспокойная служба, Рахель наблюдала, как черный зверек, деликатно цепляясь кривыми коготками, лезет вверх по дороговому траурному сари Крошки-кочаммы. Когда он прополз между сари и короткой блузкой и добрался до голого живота с его многолетними дряблыми отложениями печали, Крошка-кочамма закричала и замала молитвенником. Пение смолкло, сменившись недоуменными «чтотакое» и «чтослучилось», мохнатой возней и хлопаньем сари.

Скорбные священнослужители принялись расчесывать курчавые бороды пальцами в золотых перстнях, как если бы незримые пауки вдруг сплели там паутину.

Летучий мышонок взмыл в небеса и превратился в реактивный самолетик без перекрещенного следа.

Рахель одна из всех увидела, как Софи-моль тайком крутанулась в гробу.

Скорбное пение возобновилось, и второй раз был произнесен тот же скорбный стих. Вновь желтая церковь распухла от голошения, как больное горло.

Когда Софи-моль опускали в землю на маленьком кладбище позади церкви, Рахель знала, что она еще не умерла. Рахель слышала (ушами Софи-моль) мягкие звуки красной глины и твердые звуки оранжевого латерита, падавших комьями и портивших блестящую полировку гроба. Глухие толчки доносились до нее сквозь деревянную полированную крышку, сквозь атласную обивку. Заглушаемые землей и древесиной, звучали скорбные голоса священников.

*Влагаем в руки Твои, всемилостивейший Отче,  
Отлетевшую душу дочери нашей,  
Смертное же тело опускаем в могилу —  
Земля к земле, прах ко праху, персть к персти.*

Там, в глубине земли, Софи-моль кричала и раздирала атлас зубами. Но крики невозможно было слышать сквозь слой глины и камней.

Софи-моль умерла, потому что ей нечем было дышать.

Ее убили похороны. *Персть — шерсть, персть — шерсть, персть — шерсть*. На могильном камне было написано: «Лучик, просиявший так мимолетно».

Амму потом объяснила, что «так мимолетно» значит «на короткое время».

После похорон Амму повезла близнецов в Коттаям, в полицейский участок. Это место было уже им знакомо. Накануне они провели там немалую часть дня. Помня едкий, дымный запах застарелой мочи, который шел там от стен и мебели, они заранее зажали пальцами ноздри.

Амму спросила, на месте ли начальник участка, и, когда ее провели к нему в кабинет, сказала, что произошла ужасная ошибка и что она хочет сделать заявление. Потом спросила, нельзя ли увидеть Велютту.

Усы у инспектора Томаса Мэтью топорщились, как у добродушного махараджи с рекламы авиакомпании «Эйр Индия», но глаза у него были хитрые и жадные.

— Не поздновато ли, а? — спросил он. Он говорил на малаялам\*, на грубом коттаямском диалекте, и смотрел при этом на груди Амму. Он сказал, что коттаямская полиция знает все, что ей нужно знать, и не принимает никаких заявлений от *вешья\*\** и от их приبلудных детей.

---

\* Малаялам — язык народа малаяли, населяющего штат Керала в южной Индии, где происходит действие романа.

\*\* Вешья (*хинди*) — проститутка.